

К 85-летию О. Чухонцева

1

Впотьмах толкнув привычную дверь, можно оказаться в пределах, совсем не привычных, – в мире собственной памяти, помноженной на фантазию: и умершие родственники, собранные вместе, как свидетельство: никто не умирает, но и вошедшему сюда пока рано умирать.

Ибо все умирают:

А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: – Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. – И место указал.
- Но ты же умер! – я ему сказал.
А он: - Не говори, чего не знаешь.

Стихотворение Чухонцева гудит, разливается вширь, открывая неведомые перспективы; оно не играет, ибо всё слишком всерьёз; и умерший отец, не раскрывающий тайну смерти, и другие родственники, хранят согласие гармонии, пускай неизвестной живым.

В нас – в наших душах, в их копиях и недрах – собираются отблески вселенной, и, кажется, порой, что любые из живших связаны с каждым мириадами нитей, которые не увидеть.

Но – двигаться надо осторожнее, чтобы не нарушить мистических нитей-связей.

Сложными тропами развивалось творчество О. Чухонцева; по-разному созидал он собственный поэтический свод: обращаясь к истории, исследуя гармонию, или кривизну предложенного жизнью пейзажа, замыкаясь в себе, переводя, то есть пересаживая на русскую почву, различных поэтов, усложняя стих, стремясь к метафизической тайне бытия: расшифровать её!

Сформулировать хотя бы...

Именно метафизикой насыщены, когда не перенасыщены стихи позднего периода:

А берёзова кукушечка зимой не кукуват.
Стал я на ухо, наверно, и на память глуховат.
Ничего, oprичь молитвы, и не помню, окромя:
Мати Божия, Заступнице в скорбех, помилуй мя.

Человек превращается в молитву, что не отменяет ни воспоминаний, ни переживаний:

В школу шёл, вальки стучали на реке, и в лад валькам
я сапожками подкованными тукал по мосткам.

Инвалид на чём-то струнном тренькал-бренькал у реки,
всё хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки...

Странное несовпадение с чем-то важным: психологический изъян – чувствуют многие, но только волны поэзии способны донести камешки таких ощущений до берега... возможно, жизни.

Или – опять же – чего-то предельно таинственного, запредельно-манящего.

В стихах Чухонцева много конкретики, зримости, вместе – держатся они на своеобразии поэтического воздуха, на тончайших нитях, связывающих с мирами, которые и вынужден представлять поэт.

Чухонцев сильно писал и сильно пишет: не давая сбоев, всё время совершенствуясь, точно вектор его – тоска по идеалу: по такому стихотворению, которого и не вообразить; и именно этот вектор и позволил ему создать определённое количество перлов, без которых русскую поэзию уже не представить.

2

Трансцендентное крушение рая...

Метафизическое возвращение в него: два полюса, две зоны сияний, и немоты, прорванные полотнищами стиха, организуют Фифиа О. Чухонцева.

Вся книга род молитвословия: но слова – свои, ибо удовлетвориться многими, уже веками обкатанными нельзя.

Средневековье мешает с садом, и перечисления растений тянут на каталог; запредельная попытка найти выражение для принципиально невыразимого, трудно играющего в недрах сознания, приводят к сложным конструкциям стихов: проще им не быть.

Посмертный опыт не опишешь иначе.

Смутные картины, возникающие в сознание, как тайная работа духа в нас, и Чухонцев, кажется, фиксирует то, что избегает всякой фиксации. Отсюда – усложнённость: и метафор, и самой речи.

Отсюда простота словечка на суахили: Фифиа...

Странные, туманные, трудные, прозрачные – стихи, их кристаллические решётки могут быть определены, как угодно; дело не в них: о! разумеется, не о качестве речь – дело в ощущение запредельного, космического

шума, стоящего за ними, гула высот, беспрецедентности сфер.

И всё это, наполняя книгу разнообразно, ставит её особняком в огромном граде поэзии русской.

3

Предчувствие жизни, её юношеский черновик, прорастание во многие сущностные её моменты...

А вокруг в переулочках шелест, шаги
Подрастают друзья, подрастают враги.

Обычно резкий в оценках Н. Коржавин пришёл в восторг от этих строк раннего Чухонцева, сразу прозрев в нём поэта.

И поэт был – с неповторимой голосовой модуляцией, с движением только по собственной тропе, с собственной тяжестью, мыслью, звуком.

Был поэт, писавший шедевры:

...и дверь впотьмах привычную толкнул,
а там и свет чужой, и странный гул –
куда я? где? – и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился – и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.

А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: – Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои. – И место указал.
– Но ты же умер! – я ему сказал.
А он: – Не говори, чего не знаешь.

Смерть входит в жизнь до смерти, требуя разгадки, когда не осмысления; в уплотнённом ряду образов стихотворения смерть, как будто теряет свою знакопись, становясь частью жизни – всего лишь...

Лестница, которой сошёл Чухонцев, тяжела; открытия, сделанные им, были сильны, и стихотворения, клубясь потоком расплавленных образов, заставляло возвращаться к нему, думать над ним, сверяясь с собственными ощущениями.

У Чухонцева много стихов, к которым хочется вернуться, вновь и вновь совершая путешествие по строкам и строфам, кружась вместе с ними среди таких точных – и вместе условных созвездий.

...а смерть – как ощущение запредельности – прорывалась снова и снова:

Под тутовым деревом в горном саду,
в каком-то семействе, в каком-то году,

с кувшином вина посреди простыни,
с подручной закуской – лишь ветку тряхни,

с мыслишкой, подкинутой нам тамадой,
что будем мы рядом и там, за грядой,

Амо и Арсений, Хухути и я,
и это не пир, а скорей лития.

Как странно, однако, из давности лет
увидеть: мы живы, а нас уже нет.

Странно – отчасти торжественно: как превращение пира в литию...

Церковная музыка, гудение сфер: часто смешивались в алхимическом сосуде стихов Чухонцева, стремившегося – в конце концов – к созданию своего метафизического языка, ярче всего означенного в сборнике «Фифиа»...

Почти все стихи сборника – с несколько сдвинутой оптикой: точно поэт нашёл грань, с которой видно, что там – за чертой, за пределом. Быть может и нашёл.

Ощущения от стихов Чухонцева всегда были высокими, и, поднимая читателя в высоту, он сам таким образом поднимался и поднимался по бесконечному лучу, должному открыть последнюю тайну...

Примечание:

Александр Балтин родился в Москве, в 1967 году. Член Союза писателей Москвы, автор 85 книг. Стихи переведены на итальянский, болгарский и польский языки, эссе — на болгарский и фарси.